

Это был обычный мартовский день. Солнечный, но холодный, ещё к месту звучала шуточная поговорка: «Марток, не скидай порток». Но утрами в окна всё настойчивее заглядывало солнце, Влад веселее вскакивал с нагретой за ночь постели и смотрел сквозь замёрзшее стекло: как там, на улице, не кучерявятся ли над сопкой облака — предвестники снега зимой или дождя летом. Он всегда радовался солнцу и не любил метели, потому что после их «гулянки» приходилось браться за широкую, сделанную из фанеры лопату и чистить от снега двор, вместо того чтобы встать на самодельные лыжи и помчаться по косогору, прыгнуть с трамплина, который он делал с мальчишками.

И сегодня светило солнце. Оно выползло из-за зубчатых вершин Алтайских гор, широко распахивая день и приглашая в него полусонного Владика, чтобы он открыл для себя что-то новое или закрепил в памяти старое. Накинув отцовский полушубок и прыгнув в валенки, он сбегал до ветру, умылся, собираясь сесть за стол завтракать.

— Чего это радио молчит? — удивился Владик, подошёл к динамику, повернул ручку громкости, и в комнату полилась грустная мелодия.

— Всё утро сегодня так-то играет, — сказала мама. — Никак кто-то помер? Калинин когда помер, тоже музыка играла весь день. Кто ж нынче?

— Может, Ста... — Владик прикусил язык, поймав гневный взгляд мамы.

— Мама, что там Владька болтает? — раздался голос старшей сестрёнки Вали.

— Ничего, спите, рано ещё.

— Ага, нас Владька разбудил, теперь не хочется.

— Я тебе язык щипцами прижму, — тихо сказала, приблизившись, мама. — Неймётся тебе, паршивцу. Забыл, как отцу клялся языком не болтать?

Забыть ту страшную сцену Владик не мог, как не мог сдерживать свои эмоции даже по случаю самого незначительного события в его жизни, как не мог не смеяться, не радоваться жизни, катаясь с горы на лыжах, как не мог не дышать, не смотреть, не чувствовать, не говорить...

Случилось это почти три года назад. Владиду исполнилось уже девять лет, и он считался незаменимым помощником по домашнему хозяйству. Виноват, конечно же, Алёша-дурачок.

Алёшку знал весь рудник. Он болтался целыми днями по магазинам, то в смешанном возле чечен-городка, то у продмага возле плотины, то возле центрального, самого большого, где продавали продукты и хозяйственные товары. Владик толком не знал, откуда взялся Алёшка, этот здоровенный детина шестнадцати лет, но слышал, что его мать утонула в Иртыше, а отец сгинул на лесозаготовках после возвращения из германского плена. Алёшка раньше был нормальным человеком, учился в школе, но после того, как у него на глазах утонула мать, он стал заговариваться. Его подобрала вдова-тётя, у которой своих-то детей кормить нечем, а тут довесок — племянник. Вот Алёшка ходил и попрошайничал. Он был языкаст и упрям.

Однажды Владик стоял в очереди за хлебом и сахаром, который неожиданно выкинули на прилавок для торговли в неограниченном количестве. Очередь образовалась длинная, хвост её стоял на улице. Появился Алёшка-дурачок. Его угощали комочками сахара, он тут же хрустел ими, закусывая куском хлеба. А люди, узнав, что торгуют сахаром, прибывали. Очередь разрасталась. Глядя на неё, Алёшка вдруг стал смеяться и кричать:

— Победители, а хлеба досыта не едите, очередь за сталинской буханкой в четыре утра занимаете!

— Алёшка, уймись, дурачок, иди домой к тётке, — кричали ему из очереди.

Но Алёшка не унимался, а всё кричал и кричал одно и то же. Наконец он утомился и ушёл. Очередь облегчённо вздохнула. Владуку запомнилась эта фраза слово в слово. Придя домой, он хотел рассказать маме о том, что говорил у магазина Алёшка-дурачок, но она ушла по делам к соседям, и Владик забыл о случае, но ненадолго. Через день, когда он снова толкался в очереди за хлебом, то услышал, как стоящие впереди него женщины шептались.

— Зачем он им сдался, юродивый? А вот забрали. Запрут куда-нибудь на лесоповал.

— Да не только его, но и тётку заграбастали. Вот он, язык без костей, до чего довёл. Сироты круглые остались дети-то у Дарьи. Куда ж их теперь?

— Поди, Дарью-то отпустят. Она, что ли, его, пустую башку, учила? Чечены ссыльные это Алёшке нашептали, они озоруют, вот он и брякнул. Не первый уж раз языком запинается.

Владик, потрясённый услышанным, пришёл домой и с порога закричал:

— Алёшку-дурачка арестовали за то, что он позавчера говорил: «Победители, а хлеба досыта не едите, очередь за сталинской буханкой в четыре утра занимаете!»

— Замолчи, Владик, закрой рот и не вспоминай об этом никогда! — в испуге приказала мама.

— А что, неправда? — сказал Владик. — Германию победили, Японию — тоже. После войны уже четыре года прошло, а за хлебом и за сахаром — давка.

— Ах ты, шельмец языкастый! Где мой прут? — сказала мама, припадая на больную ногу. — Вот я тебе сейчас.

Владик шарахнулся из кухни в прихожку, но тут наткнулся на отца. Он впервые после фронтовой контузии тяжело заболел, бледный, худой, с трясущимися руками, стоял в дверях, опершись о косяк. Но у него хватило сил

схватить Владика левой рукой за шиворот, притянуть к себе и ожечь его ремнём.

От неожиданности Владик вскрикнул. Отец никогда не наказывал его поркой, а тут удары на него посыпались неторопливые, хлёсткие.

— Это тебе за уши, чтобы не слушали всякую дребедень, это тебе за язык, чтобы не повторял её, а это тебе за то, чтоб не огрызался матери.

Владик испугался не на шутку. Он только теперь понял, какие крамольные слова произнесли и Алёшка, и он. Испугался не оттого, что его наказывает ремнём впервые в жизни его любимый папа, а оттого, как он выглядел. Он стоял бледный, глаза глубоко ввалились. В них полыхали страх, отчаяние и бессилие. Бескровные губы молили Бога, чтобы он пощадил его, не наказывал за рукоприкладство, а слова малолетнего сына не были бы никем услышаны. Тогда он, отец, не будет схвачен уполномоченным государственной безопасности, семья останется свободной, а не в числе врагов народа. Владик тогда не понял отчаяние и злость отца. Но теперь, спустя три года, повзрослевшему, понимающему гораздо больше, ему втрое жаль его, обессиленного, задыхающегося, упавшего на лавку, харкающего кровью.

— Мало я тебе, Владька, всыпал, мало. Радуйся, что силы мои кончились, как дым в трубу улетели, а то бы я тебе, паршивцу, всю задницу исполосовал, чтоб долго помнил, что языком брехать, как тот кобель во дворе, негоже. Ты что же, хочешь, чтобы отца твоего больного за плохое воспитание сына в каталажку посадили, как того Алёшку и его тётку, чтоб разорили наше ещё не до конца свитое гнездо, чтоб побирались вы по людям с протянутой рукой?

Отец опирался левой рукой о кромку стола, им же сработанного прошлым летом, затем в изнеможении откинулся к стене, запрокинул голову, устало закрыл глаза. Кадык его, большой и острый, резко обозначился на худой шее, запрыгал от прерывистого дыхания и сглатывания слюны. Холщовая нижняя рубашка на нём повлажнела, из глаз выкатились две крупные слезины. Мать в ужасе, не проронив

ни слова, стояла в прихожке, заломив в отчаянии на груди руки, с диким страхом на побелевшем лице глядела, словно безумная, на эту жестокую сцену.

Валя, старшая сестрёнка, выскочившая из комнаты на шум, стояла как вкопанная в дверях. Наконец она сказала:

— Вот что натворил, Владька, своим языком.

— Папочка, что ты говоришь?! — бросился Владик к отцу. — Пусть бы ты лучше отлупил меня покрепче, но только после этого выздоровел. Я больше не буду вредные Алёшкины слова повторять и другие слушать не стану. Только ты не переживай, выздоравливай побыстрее, и за дом снова с тобой возьмёмся. Крышу покроем, всё внутри отделаем.

Владик упал на колени перед отцом, уткнулся ему в пах, прикрытый кальсонами, от которых пахло потом, и горько зарыдал.

— Ну, будет, будет, — сказал отец, отрывая голову сына от себя, страдая от недавней своей вынужденной жестокости. — Коль ты понял всё сразу, так и будет. Говоришь, хлебца к обеду принёс свежего? — весело уже сказал отец, подмигивая матери: мол, ставь на стол щи. — Я ждал-ждал и дождался тебя, больно проголодался. Сейчас напластаем ломтей хлебных побольше и будем наворачивать за обе щёки, а маманя будет только успевать подсыпать из чугунок¹ в тарелки больным здоровья!

Владик утёр слезы и отозвался улыбкой на отцовские слова. Мама метнулась к печи, загремела посудой.

— Хлеб нынче пропечённый, пружинистый, — сказал Владик, — ржаной и пшеничный, такой, как папаня любит. Я постарался, выбрал булки порумянее.

Семья села завтракать борщом из квашеной капусты с картошкой, заправленным спелыми помидорами и свёклой. Борщ был густой, но без мяса, на костном бульоне. Несмотря на приобретённый силикоз лёгких², у отца был

¹ Чугунок — своеобразная ёмкость из чугуна, в которой варили различную пищу, опуская в очко плиты нижнюю зауженную часть.

² Силикоз лёгких — поражение лёгких микроскопической свинцовой пылью во время бурения в шахте.

неплохой аппетит, а уж о Владике и сестрёнках говорить нечего. Чугунок, в котором мама всегда варила первое, ополовинился. Когда дети разошлись по своим делам, Георгий ещё долго сидел на лавке за столом с невесёлыми думами, покачивая головой.

— Зря ты так, поди, на мальчонка, Гоша, — сказала мама. — Но и промолчать нельзя, языкастый больно, весь в тебя.

— Яблоко от яблони, Таня, недалеко падает. Ведь, как водится, наблюдаю я, родители прощают детям не только из-за любви к ним или из-за жалости, а потому, что сами страдают этими же пороками. Сколько раз меня язык подводил, сколько раз я осекался. Ну, думаю, больше не буду язык распускать. Пройдёт время, забуду, и опять: ляп — и прилип язык к железяке в сорокаградусный мороз, с кровью отдираю его. И на фронте бывало — так в ефрейторах и проходил, и на гражданке. Механиком на шахте мог давно стать, ведь знаю технику-то. На Монко до войны механичал же. Вот я и боюсь: Владька за язык не раз поплатится. Лучше, мать, ногой трижды запнуться, чем раз — языком. Ему, мать, учиться надо. Есть у него смекалка, энергия. Кабы мне пожить годков с десяток — выучил бы я его на инженера. Но, видать, не судьба мне, вряд ли выкарабкаюсь. Силикоз, мать, не шутка, а тут ещё туберкулёз приплюсовался.

— Да что ты, Гоша, что ты, Бог с тобой! — всплеснула руками мама, припадая на левую ногу, коленная чашечка которой была изуродована простудой на весенних лесосплавах в военные годы.

— Мне бы, мать, барсучатины или медвежатины, вот средство первостепенное от туберкулёза! Да где этого добра взять? Но ты, мать, гляди за сыном, будь построже с ним насчёт языка.

— Да уж не спущу, коли что, — пообещала мама.

И она постоянно напоминала сыну, чтоб тот держал язык за зубами, выговаривая сыну:

— Как я за вами троими ходила без отца, один Бог знает. Он на фронте с думой о вас: останется ли в живых, свидимся

ли? Я здесь, горе мыкая, тоже с думой о вас: чем накормить, чем одеть-обуть, как обогреть в зимы лютые? Одних бросала на неделю на старшего Шурку, а сама на лесосплаве, в ледяной воде весенней по колено, горюшка натерпелась. Страх за вас — как бы не перемерли — так и кружил в голове. Какой с Шурки был спрос, когда ему только девять лет исполнилось? Теперь такого страха нет, так другой держит цепями кандалными через твой язык. Угожу на тот же лесосплав, а вас, сирот, по детдомам раскидают. Хорошо ли?

Владик вобрал голову в плечи, ожидая шлепка. Но бить его никто не собирался, и он решил высказаться.

— Он же в последнее время болел. По радио передавали, — тихо сказал Владик.

— Всё равно прикуси язык, — сурово ответила мама.

— Ладно, прикушу, поесть не дадите. Я пошёл в школу, — обиделся Владик, отодвигая пустую чашку, в которой только что была картофельная толчёнка, заправленная яйцом и сливочным маслом. — Слушайте радио, может, что-нибудь скажут.

— А чай? — извиняющимся тоном сказала мама.

Её полные губы вытянулись, а глаза заблестели, как это бывало в минуты скорби и печали, которых полным-полно в её жизни, а всё понимающий Владик старался как можно меньше принести маме огорчений, чем-то порадовать. И сейчас от его зоркого взгляда не ускользнула мамина горечь в глазах, и он беспечным и весёлым голосом ответил:

— Не хочу, я уж воды напился.

Он взял из сахарницы три кусочка положенного ему сахара-рафинада, оделся, подхватил стоящий наготове с вечера портфель и ушёл.

Солнце встретило его яркими лучами, он сощурился на светило одним глазом и бодро пустился в школу, забыв о неприятном разговоре.

В школе о нём напомнила всё та же льющаяся из репродуктора грустная музыка. Он поспешил в класс, обгоняя на лестнице девчонок, а когда вошёл, то понял: случилось что-то необычайное. В классе стояла бледная, строгая,

вытянутая в струнку и без того стройная Анна Семёновна, хотя первым уроком должна быть физика.

Анна Семёновна молчала. Молчали и все, кто уже пришёл. Владик шмыгнул на своё место, за ним Колька Гугин и ещё кто-то. Махмуд, Владик заметил, сидел молча и напряжённо.

— Что случилось? — шёпотом спросил он соседку.

— Не знаю, — испуганно сказала она, пожав плечами.

Влад осторожно повернул голову в сторону Махмуда, как бы ожидая этот взгляд, друг озорно подмигнул.

Прозвенел звонок, Анна Семёновна пошевелилась.

— Итак, все в сборе, — сказала она сухим голосом. — Я должна сообщить вам горькую весть: умер товарищ Сталин.

Класс ахнул. Но вместе с испуганным всеобщим классным ахом раздался неожиданно восторженный возглас:

— О Алла́!

Владик резко повернул голову на возглас и увидел, как в глазах Махмуда вспыхнуло пламя радости, а руки его, сжатые в кулаки, взвились над головой. Однако, чтобы не выдать свою радость, в ту же секунду он сжал голову руками, и его лоб глухо щёлкнул о парту. Махмуд готов был сорваться с места, вскочить на учительский стол и заплясать лезгинку. Но он правильно поступил, сжав себя в комок. Сильный удар головой о парту помог ему справиться со вскипевшими чувствами и порывом. Из глаз Махмуда посыпались искры, которые долго горели светлячками в темноте сжатых глаз, боль пронизала голову, словно её раскололи пополам.

Владик догадывался, что творилось в душе у Махмуда, но внимательно наблюдал теперь за Анной Семёновной, боясь того, что она прочтёт Махмуда, и тогда ему несдобровать. Всегда недоступно строгая, даже несколько жёсткая, не показывающая никогда свои эмоции, без единой улыбки за все эти месяцы нового учебного года, она вдруг показала Владу иной, способной к состраданию и переживанию, к доброте и сочувствию. Она сняла свои огромные очки, в которых напоминала стрекозу, вытерла носовым платком навернувшиеся слёзы и тихо отошла к окну с лёгким стуком

каблуков, показавшимся в безмолвной тишине класса раздражительно звонким, надела очки и долго стояла молча, чертя на стекле замысловатые фигуры.

Класс не шелохнулся.

Да, это был другой человек, подобревший и доступный. Повернись она, заговори о чём угодно — об уроке или классных делах — раскроется её широта души, а талант преподавателя засверкает новыми гранями. Владик ждал, что это произойдёт с минуты на минуту. Но Анна Семёновна стояла и чертила пальцем по стеклу. Движения вдруг показали Владу осмысленными. Её многие недолюбливали за сухость в обращении, даже некоторую чёрствость, но Владик прощал ей этот недостаток за великолепное знание литературы, за прекрасное чтение наизусть всех стихов и почти всей прозы. Читая, она лишь изредка поглядывала в раскрытую книгу, и Владик поражался её памяти, а каждый урок литературы походил на прекрасный спектакль с одним актёром. И актёр отдавал зрителям всё своё сердце, вычерпывал до дна свою душу, свой талант, не жалея и не щадя его. Он знал и то, что она ленинградка, бывший доцент, и что её муж по «Ленинградскому делу» был сослан на соседний Белоусовский рудник, где и погиб, а её направили сюда, на Верхний рудник.

Влад внимательно следил за движением пальца учительницы и обнаружил, что Анна Семёновна рисовала могильный холмик, крест над ним. Затем он стал читать буквы: «Спи, мой друг, белые ночи, которые ты так любил, снова станут моими».

«Она хочет вернуться в Ленинград», — подумал Владик.

Плечи Анны Семёновны судорожно содрогнулись, класс как бы подался к своей учительнице, разделяя с ней всеобщее горе. Кое-кто из девчонок даже всхлипнул. Но Владик понял, что совсем не о смерти товарища Сталина убивалась Анна Семёновна, а о дорогом ей человеке, погибшем по «Ленинградскому делу».

«Жаль, что Махмуд не видит того, что увидел я. Что бы он сказал?» — подумал Владик, продолжая внимательно

наблюдать за учительницей, поглядывая в сторону Махмуда. Тот продолжал лежать на парте трупом, не шелохнувшись.

Дверь класса отворилась, и дежурная по школе быстро сказала:

— Всем на митинг!

Класс отозвался нестройным робким шумом.

Анна Семёновна осушила платком глаза, подошла к Махмуду, опустила руку на его колючую голову и тихо сказала:

— Если у тебя сильно болит голова, Махмуд, можешь идти домой. Мне понятен твой порыв, но не надейся по дороге глупостей.

Каждый, кто слышал эти слова, понял, о каком порыве шла речь. Несомненно, об отчаянии за жизнь великого вождя. Но Владик понял иначе: он видел радость в глазах Махмуда, который знал со слов отца и брата, по чьей воле чеченцы выселены с Кавказа в Казахстан. Ходили разные разговоры, что чечены помогали фашистам, в Грозном ночью убивали наших солдат, становились проводниками фашистских войск в горах. Не все, конечно. Предавали отдельные группы богатых горцев. Но вышвырнули с родных земель весь народ. Правильно ли это? Не ему судить, сопляку-мальчишке. Но то, что открыл для себя Владик в Анне Семёновне, поразило его тем, что в их маленьком классе есть по крайней мере два человека, которые рады смерти Сталина. Значит, они его недруги, хотя всюду только и можно слышать, что в стране советской нет такого человека, который бы не любил великого вождя. Он испугался своего открытия, своей страшной тайны!

Владу очень хотелось уйти с митинга, догнать Махмуда и поделиться с ним своим открытием. Но уйти было невозможно. Зажатый в середине толпы, он стоял и слушал, как директор школы и другие учителя объяснялись в любви к Сталину, как сожалели о его смерти. Влад не очень верил в искренность их слов, ему хотелось возразить лицемерам, но он понимал, что должен молчать, и лишь снова и снова

вспоминал ту дикую сцену его порки и жалкого, обессиленного отца, которого он так любил и любит. «Что бы сказал сейчас папа? — подумал Влад. — Не зря же он меня, языкастого, тогда наказал». Влад не мог дать себе ответ. Не дорос. Он не понимал и не мог понять, что никто не дорос оценивать великое событие — смерть вождя и значение её в жизни каждого школьника и преподавателя.

Выступления учителей прекратились, и директор школы спросила, кто из учеников хочет высказать своё горькое слово о кончине великого учителя.

Никого смелого не находилось. Тогда директор школы решила вызвать на сцену отличниц.

— Дадим слово нашим отличницам. Ксения Кенюх, прошу! — громко сказала она.

Ксения, такая же высокая, как и Влад, стояла рядом с ним. Она была немка. Ещё младенцем вместе с родителями, как и сотни тысяч колонистов Поволжья, Ксения была выслана на Алтай в самом начале войны. Отец Ксении умер от простуды в трудармии и неизвестно где похоронен. Ксения жила с матерью, бабушкой и старшим братом. Влад знал это. Он всё намеревался спросить Ксению, жаль ли ей Сталина. Но не успел, сейчас она сама об этом скажет во всеуслышание, но это, пожалуй, не будет правдой. Владу было жалко эту спокойную и стеснительную девчонку. Как же она поведёт себя? Она, пожалуй, попадает в число тех, кто не выражает любви к умершему человеку. Влад глянул на соседку. Она стояла бледная, как сметана, губы обескровились и тряслись.

— Я-я, — забормотала она, но вдруг ноги её подкосились, глаза закатились под лоб, который украшали завитушки волос, и она, зажатая со всех сторон, медленно опустилась на пол.

— Ксения, что же ты? — выкрикнула директор школы.

— У неё обморок, — крикнул Владик, — Анна Семёновна, у неё обморок!

Учительница стояла неподалёку, в кругу своих учеников.

— Мальчики, дайте пройти, — быстро сказала она.

Ребята втиснулись в гущу своих сверстников, давая проход учительнице.

— Воды! — громко крикнула она. — Давайте отнесём её в класс.

Все смешалось. Митинг загалдел. Анна Семёновна и Владик подхватили девочку под руки и понесли в класс, усадили за парту. Анна Семёновна набрала в рот воды из стакана, поданного ей кем-то из девчонок, брызнула на лицо Ксении. Та открыла глаза и невнятно пробормотала:

— Что со мной?

Она испуганно смотрела на Анну Семёновну, но скорее не испуг был в её больших голубых глазах, а паническое безумие.

— Успокойся, Ксения, успокойся. Тебе не придётся выступать на митинге, он уже окончился.

Ксения закрыла глаза и заплакала навзрыд, уткнувшись головой в подол юбки Анны Семёновны, которая нежно гладила ученицу по голове.

...Никто из ребят не знал, что в этот же день в школе состоялся внеочередной педсовет. Классный руководитель Каракушан отчитывалась за сорванный митинг.

Бледная Анна Семёновна только и сказала в своё оправдание:

— Я оказала первую помощь ученице, упавшей в обморок. Это мой долг.

— Если не умысел! — возразила директор школы. — Ксения Кенюх — как это я забыла? — дочь депортированных немцев Поволжья, вы — жена врага народа. Вам придётся оставить классное руководство.

Педсовет поддержал решение директрисы.